



## ТО, ВО ИМЯ ЧЕГО

Когда-то давно один начинающий автор обсуждался в Москве, в некоем литературном собрании. Компания подобралась колючая. После чтения посыпались вопросы, часто жесткие. Он, как мог, отбивался. Но был удар, который послал его в нокаут. Этот неотразимый вопрос гласил:

— Во имя чего вы пишете?

В ту пору новичок затруднился бы с ответом и на куда более легкое: «Как вы пишете?» или: «О чем?». А это «во имя чего?» оказалось просто сокрушительным!

Конечно, честолюбие — вождь юности. Вместе с тем ответить: «Для славы», — было бы, и смешно и не полно. Смешно, потому что вся его тогдашняя «слава» растворялась в кругу нескольких друзей. А не полно, потому что он предчувствовал в своем тяготении к слову нечто иное, нежели только желание стать знаменитым.

Еще нелепей прозвучал бы ответ: «Ради денег». Долгое время он, нигде не печатавшийся, вообще не имел представления о том, сколько платят писателям.

Так во имя чего же, на самом деле?!

Неизвестно.

«Рефери» с загипсованной рукой на перевязи молча отсчитал свои десять счетов.

Накаутированный не поднялся.

С тех пор он даже в мыслях избегал вопроса, так его подкопившего. Назвал подобную постановку «некорректной» и больше к ней не возвращался. «Я пишу во имя ни-че-го! — сказал он себе. — Просто пишу и все, не задаваясь лишними вопросами».

Однако проблема оставалась...

Ныне, по прошествии лет, ему кажутся уже доступными разумению поиски тех оснований, на которых безотчетно строился его литературный мир, отношение к творчеству, может быть, не только его собственные, — поиски обоснованных ответов на «вопрос-нокаут». Теперь появилась возможность суммировать накопленный опыт и развернуто высказаться по теме: *во имя чего писатель берется за перо?*

Простое решение сводится к следующему: запись позволяет уяснить себе то, что вне пера и бумаги остается непонятным.

Рефлексия — естественная для человека реакция на жизнь: хочется разобраться в своих мыслях, ощущениях, оценках. Внутренне сосредоточиться. А как? Надо перевести их «из воздуха» в более осязаемый мир слов на бумаге (или экране). *Записать, чтобы уяснить.*

Кроме элементарного осознания, дисциплина письменной речи помогает проникнуть в суть предмета: «довести до ума» первоначальную догадку; отыскать неизвестное в известном; создать гармонический строй в смысловой путанице, звуковом и ритмическом хаосе; высветлить стилистику; снова — в воображении — пережить то, что однажды взволновало тебя наяву, но пережить не смятенно, повинувшись нахлынувшей душевной волне, а подготовленно, плодотворно, артистично, открывая нечто недоступное без художественного постижения; нечто необычайное; не лежащее на поверхности здравого смысла; проявляющее себя ассоциативно, косвенно, возникающее из подтекста. То есть: *уяснить, чтобы открыть.*

Безбрежная бездна понятий и ощущений подобна морской пучине. Погружающемуся в нее она дарит объем. И тогда эмпирик, плескавшийся на двумерной зыби расхожих истин, с удивлением, страхом, восторгом обнаруживает вокруг другой мир, словно впервые попадает на морское дно и замирает, пораженный красотой того, что ему предстало. Он испытывает наслаждение, обозревая подводное царство. Ему суждено пережить счастье глубинного созерцания. *Открыть, чтобы насладиться красотой.*

Природа поэзии такова, что, и светлое и темное; и праздничное и будничное она способна переводить в совершенно иную

категорию — в категорию прекрасного. Кажется, что творчески включенное сознание, словно «волшебный фонарь», преобразует питающую его энергию жизни в духовное свечение. Душа человеческая, замороженная мирскими страстями, сохраняет в себе неизбежную тягу к прекрасному и готова ради этого проходить не только через очищение радостью, но и сквозь просветление страданием; просветление, которое несет трагическое искусство. Так гармония форм — эстетическое начало сходится с началом душетворящим — этическим; красота созерцания с красотой незримой, создавая качество, известное нам под именем: прекрасное. *Насладиться красотой, чтобы с ней испытать чувство прекрасного.*

Помимо этих обоснований, существует и другого рода причина, заставляющая браться за перо. Она вызвана желанием материализовать время, остановить его, повернуть вспять. Это — мотив памяти. Трудно смириться с тем, что любимые нами люди уйдут навсегда, что трава забвения запутает их земные тропы. Померкнут лица, рассеются голоса, сотрутся следы; обветшают дорогие им вещи, рассыплется утварь; разрушатся дома, в которых они жили; изменятся сами пейзажи, окружавшие их когда-то... Все это будет происходить исподволь, почти незаметно. Сперва утратятся детали былого, а с ними резкость памяти. Останется общий вид. Потом — расплывчатая приблизительность вида. Но исказится и она. Поменяется масштаб. Все уменьшится. Исчезнет искаженное... Протест против такого опустошения, невыносимость его возвращают нас в прошлое. Удерживать время можно по-разному. В том числе в слове. Значит, *записать, чтобы сохранить*. При этом историку важно сохранить объективно, художнику важно *сохранить по-своему*. Исследователь чтит беспристрастность в обращении к прошлому, тогда как субъективность искусства складывается из личных предпочтений, собственных правд. Но субъективное не означает ложное. Напротив. Многомерность художественной правды куда ближе к истине, чем плоская правда документа. Наука зиждется на объективностях, искусство состоит из правд. В том числе и взгляды на предназначение искусства — на «то, во имя

чего». Моя правда там, где мои испытания, мой опыт. Пускай найдется кто-то иной со своим опытом, который скажет: «Все это совсем не то, во имя чего». Или: «То, да не то». Но его правда не будет моей. Сохранить по-своему означает пропустить через собственный опыт, через свое сердце.

Воскрешая былое, художник вольно или невольно задумывается о драме человеческого бытия, состоящей в том, что относительная бесконечность жизни в целом безучастна к предельности каждой индивидуальной судьбы. Как продолжить свое земное пребывание; раздвинуть траурную рамку отпущенного тебе срока; войти в число тех, кого помнят? Это глубоко персональный мотив. Постепенно крепнет вера, что правда жизни, сохраненная тобой по-своему, сбережет и тебя самого, как частицу былого. Речь идет не о «бессмертии» хотя бы и в границах той культурной эпохи, которой ты принадлежишь. Речь о продлении — пусть совсем ненадолго — твоего духовного присутствия в ней. *Сохранить по-своему, чтобы продлить себя.*

Но это не все.

Творчество есть узаконенная культурой легальная возможность выплеснуть накопившуюся энергию духа — дать волю воображению, мысли, страсти. Миг такого выплеска всегда неожидан, всегда непреднамерен. Его нельзя вызвать усилием воли, сымитировать, организовать. Рожденная и плененная тобой мысль, заточённое чувство могут томиться в тебе многие годы, пока не потребуют высвобождения. И ничто тогда не преградит им дороги. Они все равно вырвутся наружу, распрощаются с тобой, но и ты освободишься от них, потому что невысказанность мучительна. *Записать, чтобы освободиться.* В том числе облегчить чувство вины перед ушедшими и живущими, принести им свое раскаянье, исповедаться без посредников, одному, напрямую — в слове. Именно так: *записать, чтобы исповедаться.*

Принадлежа своему времени, человек переживает перипетии не только собственной, но и народной судьбы. Он не в состоянии благоденствовать среди окружающих его несчастий; радоваться личным удачам, не обращая внимания на горести вокруг. Врожденная тяга к общественному равновесию, именуемая

справедливостью, в стране разлаженной, неустроенной неизбежно побуждает художника на гражданский отклик. Вступая за униженных, он стремится восстановить нарушенное равновесие. Он встает на сторону гонимых, чтобы вернуть сбитый баланс человеческих прав. Здесь причина вечного противостояния поэта и власти, если по чувству поэта власть несправедлива. В этом случае гражданственность не столько слагательница державных гимнов, сколько свидетельница народного неблагополучия. Гармоничное общество во время устраняет причины, которые востребовали бы искусство социального протеста. Государство дисгармоничное пытается устранить не причины, а диагностирующего их художника, для которого *записать означает помочь более человечному устроению жизни.*

Когда таких сил он в себе не находит, писательство служит ему индивидуальной опорой, защитой от внешних невзгод, дает не иллюзию свободы, подхлестнутую алкоголем, богатством, высоким положением в обществе, а подлинную внутреннюю свободу, не зависимую от оказий допингов, доходов и службы, обстоятельств места и времени.

Разброд мыслей, душевные тревоги, ощущение своей беспомощности перед натиском стороннего мира; присущая поэту печаль, идущая от невыразимого очарования природы, от того, что ни одно самое глубокое сознание, ни одна самая восприимчивая душа, никакой гений никогда не смогут выявить во всей полноте прекрасное в ней, ровно так же, как никто не властен воплотить Божественную Комедию жизни во всем ее ничтожестве и блеске, — вся эта невидимая работа рассеяния лишь предшествует фокусировке творческого луча в одну точку, когда что-то зацепит тебя по-настоящему, пробьется сквозь хаос разрозненных впечатлений и вспыхнет в тебе... Миг этот не передаваем. Душа разгорается. И вот — ты как будто объят изнутри мощным и ровным пламенем. Словно тугая, гудящая тяга наполняет тебя своей упругой и жаркой силою. И все тогда идет в дело, все на пользу: неприкаянные мысли, не находившие выражения чувства, обрывки воспоминаний, куски фраз, никому, казалось, ненужные слова... — все сгладится, все сторае в этом

разыгравшемся полуме, излучая тепло и свет. К тебе возвращаются точность, воля, уверенность, защищенность, покой. Ты обретаешь себя. А тем, кто неспособен на это, ты можешь подать знак, разжечь для них свой огонь. Разве этого мало? Разве это не то, во имя чего?.. *Пишу, чтобы обрести себя.*

Подать знак... В той вселенной, что названа миром духа, всякое творение — сигнал, идущий от сердца к сердцу. Одни не улавливают его; другие отторгают; третьи принимают машинально, почти безразлично... Но есть надежда в равнодушном, чуждом тебе множестве отыскать читателя, друга, единомышленника, собеседника — близкую душу... — внимательную звезду... — еще одну... — еще...и соединить свое лучение с ее светом. Среди людской разобщенности, в мешанине рвущихся связей, теряющихся нитей, пропадающих следов, забываемого родства неужели такое сопряжение разлученного не служит тем, во имя чего?.. *Пишу, чтобы найти родную душу.* И тогда деление на литературные жанры становится номинальным, превращается в условность, ведь по большому счету все есть один-единственный жанр — эпистолярный. Мы пишем письма, адресаты которых нам неизвестны, но они узнают нас и по нам находят друг друга.



**Роман**





# ВИОЛОНЧЕЛЬ ЗА БУМАЖНОЙ СТЕНОЙ

## ЧАСТЬ I

\* \* \*

Не церковкой бедною  
При скупом огне —  
Я крещен Победою,  
Вспыхнувшей в окне.

Полюби раскованность  
Детства моего,  
Красный дом с драконами  
В стиле ар-нуво<sup>1</sup>,

Лестницу и грозный  
Взлет ее перил.  
Дух великой Крестной  
Надо мной парил,

Зажигал оранжевым  
Светом этажи,  
Душу завораживал,  
Лился в витражи.

Побродил я по свету  
И пришел назад —  
А на стеклах отсветы  
До сих пор дрожат.

---

<sup>1</sup> Ар-нуво — новое искусство, художественное направление, возникшее на рубеже XIX и XX веков.

## НЕЗАМЕТНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Вот праздник, который виден издалека: на первомайском ветру тяжело падают полотнища пурпурных знамен; раскачиваются свисающие донизу туго свитые вызолоченные кисти, а вечером в черном небе, восхищая взор, то тут, то там гигантскими хризантемами, цветными раскрывающимися веерами вспыхивают букеты артиллерийского фейерверка.

Или: новогодний, толкучий, елочный торг. Серебряный дождь, мерцающие бликами шары; толстые деды-Морозы с клубничным румянцем на жарких щеках — веселые деды в пухлых, подбитых ватой кафтанах. Сами елки — колючие, свежо и холодно пахнущие зимним лесом, плоско примятые от недавнего (пока везли) пеленания, не успевшие распрямиться, распушиться...

Есть у этих праздников свое место, свой срок. Ими правит если не сюжет, то, по крайней мере, календарь и расписание: в десять утра — парад, в одиннадцать — демонстрация, в десять вечера — салют. Куранты. Полночь...

А какой «сюжет» может быть у ранней весны, когда в сумерках выбегаешь из подъезда в редкие уличные огни, и волна беспричинного счастья обдает тебя просто оттого, что — вечер; оттого, что — весна; оттого, что каждый час непрожитой еще жизни завораживает и манит, полон предчувствий, предзнаменований? Этот праздник свершается в тебе. Он никому не заметен. Он ничем не предупреждает о своем приходе и заканчивается так же внезапно, как начался. Развернутое зрелище — не его стихия. Он не монументален, он моментален и потому его можно лишь попробовать уловить, набросать с натуры, с той волнующей реальности былого, что постоянно напоминает о себе, всплывая в памяти пьянящим хмелем из глубин прошлого века.

## «КОХВЕЙ»

Осенью в доме Перцова греть батареи начинали не по погоде, а по календарю: планово.

Пухлый, одышливый татарин-комендант в полувоенном сером френче, напоминавший мне бежавшего из Китая старого гоминьдановца<sup>1</sup>, если не самого Чан Кайши<sup>2</sup>, полулежал, откинувшись, на протертом кожаном диване в вестибюле и вместо ответа жильцам на вопрос: «Когда затопят?», — жевал губами, выразительно скашивая глаза кверху, дескать, наверху видней... А няня сетовала на коменданта и подвластную ему котельную:

— Ишь, какой холод завернул, а оне топить-то и не думают! И об чем антиресно у их думá?..

Папа курил — «грелся» дымом, мама проветривала комнату от задымления («Дышать нечем!»), а Филипповна мерзла.

У нее, однако, были припасены три верных способа согреться.

Когда мама уезжала на работу, няня *первым долгом* захлопывала *хворточку*. Потом надевала шерстяную *кохточку*, аккуратно застегнув перед зеркалом пуговицы и подвернув манжеты так, чтобы левый и правый отвороты были равны. И, наконец, решительно и радостно отправлялась на кухню заварить *кохвейку*. Этот *сугрев* изнутри был ей особенно приятен.

У русских нянь издавна сложились волнующие отношения с кофе. Некоторое недоверие и настороженность, вызванные заморским происхождением напитка, его крепостью и репутацией барского яства, благополучно уживались с благодарностью к его веселящему нраву, с верой в его всестороннюю *пользительность* и порой перерастали в настоящую страсть, постоянную и неутолимую потребность. Вот что говорит об этом неизвестный автор в книге старинных очерков «НАШИ, списанные с натуры русскими»: «Страсть к кофе простирается в нянюшке до невероятия. Он ей почти тоже, что хлеб насущный. Она сама его жарит,

<sup>1</sup> Гоминьдан — китайская политическая партия, созданная в 1912 году.

<sup>2</sup> Чан Кайши (1887–1975) — президент Китайской Республики на Тайване, генералиссимус.

мелет и, наконец, варит. Кто б ни пришел к ней в гости, нельзя не попотчевать кофеем. Она устала — «дай-ко выпью кофейку». — Она озябла — тоже лекарство. Ей что-то скучно, — она опять прибегает к нему же, как к единственному своему утешителю. Ей весело, — она спешит из кухни со своим кофейничком из красной меди и осторожно уклоняется от встречных, чтобы не взболтать ея сокровище... Старушки-няни точно как будто находят в нем какое-то целительное свойство от болезней и печалей».

Цвет, крепость, жар, вкус, аромат, легкая пенка, тонкий осадок, на котором можно гадать — все заставляет нас отдавать предпочтение кофе. Отношение к нему, как к живому, подвижному духу, традицию его заботливого приготовления и неторопливого, почтительного питья Филипповна словно унаследовала от прежних нянь и бережно хранила.

Правда, *кохвей*, который она пила сама и которым угощала меня, немало отличался от того, чем баловались в старину и что возродили теперь. Настоящий кофе вообще почитали едой, оттого и кушали, оттого и вкушали. А то, что пили мы с няней, являло собой неопределенный отвар желудевого цвета; нечто разжиженно-водянистое, почти без запаха и совсем без пенки; нечто под смутным названием «Кофе с цикорием», то есть «Желуди жареные с луговыми цветочками»; нечто, утратившее не только вкус, но и пол. Я был уверен, что кофе — оно, среднего рода, а поскольку на мой вопрос: «Кофе сварилось?» — няня могла ответить: «Сварилось, да убежало...», то и она при всей ее почтительности *такому* кофе в мужском роде отказывала. И она не ведала, куда девался тот терпкий настой, повеял тот дурманящий аромат, повеял сочный колер, что были достойны благородного «куштивания».

В каких венских кофейнях еще трогала губы жгучая бразильская горечь, вызывая учащенное сердцебиение гурманов? На каких стамбульских базарах, под какими шатрами кочующих бедуинов пузырились плотные аравийские пеночки? Бог весть! А наш давно выдохшийся, бурый с проседью порошок доживал свой век в тусклой линиялой пачке на полочке за занавеской. Он так плохо растворялся в кипятке, что всегда оставлял на стенках

чашки грязноватые потеки, а на дне — густой осадок. О кофейных зернышках я знал тогда только понаслышке. Ни жарить, ни молоть нам было нечего, потому не требовалась и круглая ручная кофемолка, оставшаяся с дореволюционных времен — прабабушкина кофемолка, некогда перетиравшая зерна с тугим похрустыванием. Я порой крутил ее просто так, вхолостую, но работа без преодоления и без результата, обычная в мире взрослых, казалась мне нелепой и я бросал кофемолку, не намолов и горстки воздуха.

Зато кофейник у Филипповны не простаивал ни дня! Другое дело, что место славного кувшинчика из «красной меди» занимал дюралевый сосуд, чутко тянувший вверх свою тонкую шейку с изогнутым на конце носиком, что делало его похожим на маленького разгоряченного гусенка. Нагревшись над конфоркой, он пыхал-пыхал из носика паром, а чуть проворонь — мог и убежать: приподнимет крышку да плеснет из-под нее бурой грязью, загваздав плиту. Строптивый кофейный норов был Филипповне хорошо знаком и, тем не менее, каждый раз удивлял ее. Способность кофе внезапно переселиться через край или, по-няниному, *шарнуть* постоянно смущала ее и даже держала в некотором страхе.

— Филипповна, у вас кофе убегает! — весело кричит, бывало, сосед Сверчков, оттягивая на плечах крепкие подтяжки карьерного дипкурьера. Но газ при этом не выключает — ждет, пока няня, всполошившись, сама доковыляет до кофейничка.

— Ах, ты, мать честная!.. Никак его не укараулишь...

Из опыта Филипповны я знал, что кофе — большой шалун, настоящий *рикошетник* («Навроди тебе...») Пока над ним стоишь, он не закипает и не закипает («Хыть цельный день простой!»), хоть как верти кофейник над огнем. *Кохвей* ведет себя, словно комендант на диване: скашивает глаза на крышку и ни тпру, ни ну. Но попробуй только на секундочку отвернуться — тут-то он как раз и вскипит, причем вскипит моментально («И усю плиту вычудить!») Этот почтенный старец с душой озорника невольно заставлял няню быть настороже. Долго гневаться на него она не могла из уважения к его сединам, богатому прошлому и знатному происхождению. (То, что нам достался желудевый отпрыск кофейной династии, никогда не подчеркивалось, пусть и придавало

всей церемонии легкий налет мелкопоместности). Но и спускать ему с рук его баловство няня не желала. Что же ей оставалось делать? Ей оставалось лишь пристально следить за поведением старика-«рикошетника».

Итак, *хворточка* прихлопнута, *кохточка* надета.

— А и где же наш *кохвеечек*?

Пора, пора кофейничать!

Вот Филипповна нагревает в узком сосуде темную воду ожидания, аккуратно натрушивает на поверхность немного *прашка* из пачки и, прикрыв крышкой, предвидит тот момент, когда *кохвей* начнет *ускипать*...

Няня внимательно (*унюмательно!*) склонилась над кофейником. Взгляд ее добр, теплы ее руки, велико долготерпение. «Гусенок» с изогнутым клювом кажется совершенно бесчувственным к огню. *Кохвей*, разумеется, только и мечтает о том, как бы поиграть у няни *на неврах*, вовсе не думая ни о каком закипании.

— Нянь, скоро кофе сварится? — спрашиваю, сунув нос на кухню.

— Да почем же я знаю? Спроси у него...

— А ты прибавь газку.

— Чичас и шарнить.

— Прибавь, а потом убавь.

— Вот я и держу его за хвост.

— Прибавила?

— Убавила. Чуть дышать... Еле-еле душа у теле...

— А можно все-таки побыстрей?

— Терпи. Нетути у тебе терпежу никакого.

— Хочется...

— Малó ли бы что: хотца... Что ж мне теперьча прикажешь самой на огонь сесть?

Лицо у няни раскраснелось от ожидания и жара. Такая сосредоточенность ей невагоду, да очень уж самой *кохвейку хотца*: нельзя упустить!

Наконец, кофейник зашумел, загудел, напрягся. На дне завозились первые пузыри. Сейчас они побегут вверх, сперва прокрадываясь ощупью по стеночкам, с краюшку, бочком-бочком, как

стеснительные, а потом сдвинутся на середину, сгрудятся в крупные грозди, чтобы, напирая, бурля и клокоча, заставить кофейник содрогнуться и вдруг — с маху — поднимут черную шапку гущи — мохнатую, как папаха абрека; шапку, насквозь пронизанную порами пены, точно каракуль седыми искрами, и — *шарнут через!*

Еще минута... Еще секундочка... И тут в коридоре перед нашей дверью звонит телефон. Общий, коммунальный.

Согласно няниной иерархии *телехвон* главней, чем *кохвей*, потому что *сурьезней*. Телефон действует на Филипповну неотразимо: где бы она ни была, что бы ни делала, по первому сигналу няня бросает все и устремляется к трубке. Но *кохвей* бежит еще быстрее. Дистанция, которую он должен преодолеть, чтобы *вычудить усю плиту*, гораздо короче няниного пути от кухни до *телехвона*, а энергии у *кохвея* куда больше, ведь он нагрет уже почти до кипения! Почти...

— А может усе-тки успею?..

Няня предполагает успеть. Она надеется и трубку ухватить, и кофе удержать. Ну-ну...

Поймав трубку, выскользнувшую рыбкой из рук, но повисшую, как на леске, на распрямившейся пружинке шнура, подсунув мембрану к правому уху под платочек, левым она слышит неудержимо нарастающий гул кофейника, дребезжанье прыгающей крышки, выброс пара и вслед за тем змеиное шипенье кофейной гущи, оползающей по наружным стенкам, заливающей пламя, пульсирующей из носика на плиту...

— Обождитя, обождитя!.. У мене кохвей бежить!..

— Да уж убежал! — кричит с кухни Сверчков, широким жестом оплывшего на покое гимнаста стягивая с плеч чемпионские помочи и великодушно выключая газ.

Остатки напитка со скорбной торжественностью проносятся по коридору. Впереди собственной персоной плывет кофейник, с ним — Филипповна, за ней — Сверчков, спустив по бокам кольца подтяжек и сворачивая к себе в комнату. За ним, но к себе, — я.

Няня влажной тряпкой обтирает со стенок кофейника гущу, как горячую грязь, убежавшую из-под крышки, и водружает сосуд посреди стола на согнутую железным цветком плоскую подставку.



Печальная музыка тишины...

— Дак телехвон же зазвонел прямо у етот момент, врах его возьми!

Няня удручена, а я, наоборот, восхищен тем, что телефонная трель угодила в самое «яблочко»: ни до, ни после вскипания, а в такт с ним, как будто кто-то нарочно подкараулил! Между прочим, звонили не нам. Перепутав цифры, добивались посольства дружественной Эфиопии, просили секретаря, и Филипповна, расстроенная неудачной варкой, вызвала на переговоры соседа Сверчкова. Разобравшись, куда звонят, и сообразив, что абонент — иностранец, пытающийся говорить языком аборигенов, дипкурьер мобилизовал свой английский, однако подчинил ему лишь форму высказывания, тогда как словарь произвольно смешал:

— Простите... э-э... мистер секретарь есть в ауте. А это вообще... э-э... есть приватная квартира. Вы держите не ту линию.

Такой язык — английский по форме и преимущественно русский по словарю внушал Филипповне дополнительное уважение к соседу. В ее глазах дипкурьер был носителем как бы трех языков: на родине он говорил по-русски, за рубежом — по-английски, а на родине с иностранцами — как сейчас. Получалось, что Сверчков — полиглот! Наверно, потому няня и кивнула в сторону его стенки, обращаясь ко мне:

— Вучись, дитё, светлым будешь.

Даже забеленный прохладным молоком, кофе горяч. Мы шумно вытягиваем его из блюдец вместе с воздухом.

— Прихлебывай, птушенька, прихлебывай, — поощряет Филипповна.

Пьем отвар, остужаем его, а по пути, вспоминаем перипетии минувшего. Именно это и важно для нас; вопрос же о качестве питья вообще не стоит. Оно не имеет никакого отношения к делу. Оно соотносится с нами так же, как на языке Сверчкова посольский секретарь — с нашей квартирой: «Мистер... э-э... Кволити<sup>1</sup> есть в ауте».

<sup>1</sup> Quality (англ.) — качество.

Для вкуса я макаю в блюдечко твердый сахарок и слежу за тем, как, всасывая кофе, рафинад меняет цвет, темнеет, разбухает, рыхлится, дробясь на крупинки, из *каляного* делается мягким, рассыпчатым, а когда впитываешь его в себя, легко растворяется во рту.

Откофейничав, согревшись, няня успокаивается, утирает уголки губ белой лапкой ситцевого платочка и переворачивает чашку вверх дном.

Сейчас гадать будет.

— Ну, смотри... Увидал что ай нет? — спрашивает, указывая на жиденькие кофейные потеки по стенкам, на мутные коричневатые разводы в мелких семечках оставшейся гущи.

— Ничего, — отвечаю чистосердечно.

— Вишь, тута вроди жирахв какой шею тянеть... Али женьшина руку подняла... Ну, а так? — няня поворачивает чашку боком. — Так навроди клешши раскрылись... Помилуй Бог! А у тебя? Дай гляну.

Она смотрит на мой кофейный узор. Молчит. Представляет, что бы он мог означать.

— А у тебя птица летить, ишь, крыльями машеть... А тут унизу быдто собака притулилась.

— Ну, и что — притулилась? К чему это?

— А и кто ж его знаить — к чему? Предполагать можно...

Няня колышет кофейник, взбаламучивая придонную жижу. Со вздохом ставит на место.

— Человек, говорить, предполагать, а Господь располагать. Вот тебе и увесь кохвей.

## НА САНОЧКАХ

А зима? Сколько радости было зимой в одних только катаниях на санках!

Горка посреди сквера, на которую взрослый забирался в четыре широких шага, тебе, дошкольнику, казалась настоящей горой, высокой-превысокой. Покорить ее было нелегко.

Сперва волочишь санки позади себя за веревочку. Споткнулся. Оступился. Веревка вырвалась — санки поехали вниз. Спустился за ними. Снова тянешь в гору. Поскользнулся. Упал. Поднялся. Пополз на коленках. Достиг!

Целое действо. Стоишь на макушке горы, поглядывая по сторонам победно: сзади — церковь, справа — твой дом, впереди — Кремль, над головой — облака. А что за ними — в небе?

— На небеси усе есть, чево хошь, — говорит няня.

— И церковь? И наш дом? И Кремль?

— А то как же...

— А почему же я их не вижу?

— Мал ишшо. Дитё. Вот и не видать. Вырастешь — увидишь.

Я подставляю под ноги саночки, встаю на них, чтобы приблизиться к небу, но все равно кроме облаков не вижу ничего.

Эх! Хватаю санки в руки и, плюхнувшись на пузо, скатываюсь с горы.

У меня сани «мальчишечьи» — без спинки. Это «девчоночьи» со спинкой. Девочки чинно спускаются сидя. А мы разбегаемся и с размаху — хлоп на живот: красота!

Накатаешься до седьмого пота, до того, что тебя качает. Вернешься домой и с порога: — Пить хочу! — опустошаешь упитанный графинчик из густо-синего, почти ночного стекла с золотыми звездами — подарок папе от офицеров-сослуживцев. Вокруг графина на подносе — шесть рюмок. Но воду в них не льешь — некогда. Пить хочется! И поспешно глотаешь, глотаешь, глотаешь через широкий уточкин носик графина, словно боишься, что отнимут.

— Да что ж ты усе дуёшь и дуёшь, как вутка? — проворчит Филипповна. — Споддыхни, хватить. Брось грахвин, непослушник! На тебе воды не напасесси.

Оторвешься от горлышка, переводя зашедшееся дыхание, ведь пил на одном вдохе, и воскликнешь, оторопев:

— Еще хочу!

А вечерами, когда ты был совсем маленьким, — помнишь? — Филипповна упаковывала тебя в овчинную шубку, валенки, шарф, надевала шапку, помогала лечь на санки и везла, как тючок, по размешанному пешеходами снежку — погулять перед сном.

Там, где снег был протерт до асфальта, веревочка саней туго натягивалась, и полозья, издавая занудный визг, тупо скрежетали по камню. Зато, въехав на нетоптанный пушистый покров, точно вздохнув с облегчением, убыстряли бег, а по обледенелому насту катили так, что только держись — и-их!.. Няня бросала веревку, и санки мчались сами с тобой, как с Емелюшкой пощучьему велению, пока это веление не иссякало в каком-нибудь рыхлом сугробе.

Иногда ваш путь пролегал по набережной вдоль освещенной розовым светом кремлевской стены. Ты лежал на животе головой вперед и смотрел вниз. Полозья наезжали на широкие следы няниных валенок. Ты поднимал глаза и видел серые войлочные пятки с неровной каемкой снега. Они были подшиты кожей, как двумя полусолнышками и мерно переступали перед тобой, то приподнимаясь, то оседа в снег: левая — правая, левая — правая...

Порой саночки виляли, объезжая следы. Это няня меняла руку. Потом ты переворачивался головой назад и вместо крепко скрипящих валенок видел две тоненьких извилистых колеи от железных полозьев. Один раз тебе почудилось, как будто ты упал с санок, а няня не заметила и уезжает, а ты лежишь на снегу, не в силах ни закричать, ни пошевелиться, а она уезжает, уезжает... А еще тебе нравилось на ходу опустить руки в снег и рядом с линиями полозьев оставлять следы своих рук, пока колючий холодок не начнет набиваться в варежки. Филипповна, почувствовав, что движение чуть затруднилось, обернется и спросит:

— Куды ручки у снех усунул? Чичас отморозишь...

И ты переворачиваешься на бочок. Над тобой плывут зубцы и бойницы кремлевской стены. Есть в них что-то грозное, хмурое и вместе с тем веет от них каким-то теплом, защитой, даже уютом — ведь они так близко от дома!

Над угловой Водовзводной башней неподвижно горит пятиконечный рубин. Но если повернуться на спину, притворить ресницы и поморгать, то звезда начнет лучиться, как живая.

А выше — в небе — теплятся настоящие звездочки морозной зимы — такие же маленькие, как ты. А, может быть, и там

кто-то едет на саночках об эту пору вдоль укреплений Небесного Кремля, ведь совсем не хочется знать, что там ничего нет; хочется верить, что есть, — есть, и река, и набережная, и Кремль, и Филипповна, и ты сам — только какой-то другой — сияющий и замороженный, тихо скользящий по насту созвездий, цепляющийся рукавичками за звезды, осыпаящий их вокруг себя в густосинее до черноты небо...

## НОЧНОЙ ЗЕФИР

С возрастом бабушка пополнила. Она стеснялась своей полноты и говорила, что ее губят сладкое и мучное. В гостях или принимая гостей она проявляла щепетильность, как бы и не ела вовсе, а лишь дегустировала по чуть-чуть, почти рецептурными дозами, с некоторой церемонностью:

— Нет-нет, этого мне нельзя. И от этого я воздержусь. А вот это, пожалуй, попробую, только совсем немножечко...

— Валентина Ефимовна, какая же у вас воля! — удивлялись гости.

Однажды на глазу у бабушки выскочил ячмень, она прикрыла его черной косой повязкой и, победно оглядев одним глазом родственное застолье, попросила передать ей не что-нибудь, а «тоненький кусочек черного хлеба, лучше краюшечку (она почерствей)», на что папа заметил:

— Мам, ты у нас, как Кутузов. С горбушкой бородинского.

Фирменным угощением бабушки были витые плюшки, нашпигованные изюмом и усеянные кристалликами сахарного песка на румяных промасляных завитках. Бабушка пекла их в особых случаях или к редким праздникам, но уж если пекла, то в огромном количестве, наполняя ими стеклянные вазы на пианино, в буфете, на столе.

Много лет она проработала рентгенотехником в рентгенологическом кабинете, имевшем отношение к какой-то крупной кондитерской фабрике. Теперь она иногда мягко жаловалась на те искушения, которые ей приходилось преодолевать.

Благодарные пациентки регулярно преподносили ей изделия собственного производства: свежайшие «трюфели», коробочки заварных эклеров, кексы, крошащиеся коржи густо промазанных кремом «Наполеонов». И никак нельзя было отказаться... В итоге борьба с кондитерскими обольщениями выработала у бабушки весьма избирательное отношение к трапезе.

Что касается меня, то вкусное я любил, и даже очень, но еда не была для меня делом жизни. Особенно еда будничная. Не только подостывшая и загустевшая манная каша с комочками слипшейся крупы, или вареная луковица в супе, или теплое сальце во время летнего пикника на берегу Серебрянки не вызывали во мне никакого энтузиазма, но и что-то более аппетитное я спокойно мог променять на беготню, барахтанье в речке или радиопередачу.

В то блаженное время, когда, по словам папы, я ходил пешком под стол в полный рост, а читать не умел, все сведения об окружающем мире пешеход черпал, в основном, из передач все-союзного радио. Они были ему малопонятны, сливаясь в некий трансцендентный гул, в нечто, лежащее за пределами его опыта, но этот гул, но сама таинственность сообщаемого увлекали порой, как что-то, теряющееся за горизонтом детского разумения. И когда сильный, мужественный голос пел:

*Ночной зефир  
Струит эфир.  
Шумит,  
Бежит  
Гвадалквивир, —*

это воспринималось не как картина природы, а как заклинание.

Поначалу до сознания доходило только: *Ночной... Струит... Шумит... Бежит...*

Потом я узнал, что «зефир» — это западный ветер, мягкий и ласковый, а «эфир» — тончайшая материя, заполняющая мировое пространство, но кто кого струит — зефир эфир или эфир зефир — оставалось неясным. Разгадывать же магическое

слово «Гвадалквивир» мне даже в голову не приходило, словно я чувствовал, что, как тайна, оно волнует меня, а, будучи объясненным, может утратить всякое очарование. Поэзии так же трудно идти в ногу с прозой, как тайне с ясностью. Поэзия либо обгоняет прозу, либо отстает, стреноженная путами жизни.

Посреди зимы у нас в доме отключили горячую воду, а купаться было надо. Тащить меня с собой в «Сандуны» папа отказался. Он не мог брать на себя такую ответственность: «Там же кипяток!» Тогда у мамы и возникла идея отправить нас с няней к бабушке. У нее горячую воду не отключали. И отправились мы не просто так, а с ночевкой, чтобы не простудиться после купанья.

Бабушка жила у Никитских ворот, на улице Станиславского или, по-нынешнему, в Леонтьевском переулке. Ее дом напоминал прямоугольно начертанную букву «О» с разрезом для ворот и внутренним двориком. По той же лестничной клетке с бабушкой соседствовала ее родная сестра, Надежда Ефимовна, так что поездка к бабушке становилась одновременно и поездкой к тете Дине и ее мужу, полковнику Даниле Васильевичу Задорову — дяде Доне. Собственно тетей и дядей они были для моих родителей, а я был их внучатым племянником, но в русской традиции не бывает тетей-бабушек и дядей-дедушек. И для просто племянников и для внучатых племянников они равно остаются тетями и дядями.

Мне такая поездка представлялась большим развлечением, но еще бóльшим развлечением она оказалась для Филипповны.

Няня, как человек неграмотный, питала чрезвычайное уважение к людям ученым, — не только к людям науки, но ко всем, кто вообще знал грамоту. Подозреваю, что наука начиналась для нее уже с имени, отчества и фамилии человека — с таким почтением она их произносила, а, когда знакоилась, повторяла про себя, чтобы не ошибиться: «Валентина Ехимовна Смирнова... Надежда Ехимовна... Данила Василич Задоров... Лександра Леопóвич... А то ишшо Леф Лександрович... Это ж надоть: Леф!..»

Бабушке и тете Дине помогала по хозяйству Санечка. В 20-х годах приехала она в Москву девочкой из мордовской деревни

и попала в нашу семью. Нянчила еще моего папу, с тех пор так Санечкой и осталась. Говорила она нараспев, была не в ладах с грамматикой, всю жизнь путая мужской род с женским, отличалась нравом строгим, платья носила темные и постепенно стала совершенной монахиней в миру, но «со своим жанром».

На улице лютовал мороз, зато бабушкина квартира встретила нас теплом, а кухня — сладким ароматом разогретой духовки. Бабушка расцеловала меня и продолжила подготовку к ужину, а Санечка, стоя, обняла, предлагая кресло Филипповне, которой предстояло принять ванну. Кстати, это выражение — «принять ванну» — как-то меня смущало. Разве *мы* ее принимаем? Это *она* принимает нас. Она же стоит на месте, как стояла, а мы к ней приехали. Она — хозяйка, мы — гости. Как можно гостям принять хозяйку в ее же доме? А на нянином языке слово «принять» вообще означало «убрать». Она могла попросить меня: «Ну-ка, милоч, прими эти кубики с проходу», — значит, убери...

У детства свои предпочтения, в том числе касающиеся мира вещей. Из всех вещей тети Дининой квартиры главным по впечатлению оставались для меня немецкие напольные часы, стоявшие в комнате перед дверью из прихожей. Приотворишь стеклянную створку и увидишь узкий шкаф из темного дерева, овальный наверху, с круглым, как лицо монгола, медно-желтым циферблатом и длинными черными стрелками-усами. Силуэт у часов почти человеческий: не часы, а часовой. Маятник — едва ли ни до полу — ритмично покачивается влево и вправо, как будто часовой переминается с ноги на ногу. К тому же каждый час он подает голос. Вначале шумно вздыхает, шипит, сопит, долго набирает воздуха в грудь и, наконец, издает медленный медный бой — гулкий и басовитый. Сопровождаемый перезвонами мелких колокольцев, бой этот растекается по всей квартире, пока ни затихнет где-нибудь в дальних углах до следующего часа. А маятник продолжает отмерять такты влево-вправо, влево-вправо, словно повторяя вслух имена хозяев дома:

— *Дина-Доня... Дин-Дон...*  
*Дина-Доня... Дин-Дон...*



Кстати, схожесть их имен подкрепилась и сходством фамилий. Тетя Дина была урожденной Бодровой, а в замужестве — Задоровой. Хорошо, выйдя замуж, сменить бодрость на задор!

\* \* \*

Между тем ванны приняты. Настает черед застолью.

Стол уставлен расписными чашками из тонкого фарфора, вазочками с абрикосовым вареньем, вазами, полными плюшек. На столе — бутылка кагора, а в центре — блюдо с целой пирамидой зефира крем-брюле, любимого бабушкиного лакомства.

Неожиданно между ней и сестрой вспыхивает легкая перепалка из-за чайника:

— Валя, зачем ты этот чайник подала?

— А что такого? Нормальный чайник. Чем он тебе не нравится?

— Нормальный? Не люблю я его. Смотри, какой у него носик короткий. Как у сифилитика.

— Я так и знала, что ты это скажешь!

А Санечка, глядя на меня, покачивает головой в ситцевом платке и словно распевает от умиления:

— Ай, Алеша-Алеша, и как же ты выросла, и какая же ты стала большая... Скоро Филипповну перерастешь.

— Да я уж вниз расту, к земле гнусь, — отзывается няня.

Дядя Доня, улыбаясь, достает откуда-то из-под стола четвертинку и ставит неподалеку от себя, покосившись на жену. У них с тетей Диной интересная игра: в доме нигде не видно водки, но, как только начинается какой-нибудь праздник, она немедленно появляется на столе. Секрет этого домашнего фокуса откроется мне позже. Данила Васильич всегда имел в загашнике парутройку бутылочек на торжественный случай, а загашником ему служили часы. Он прятал зелье в ногах у «часового» и был уверен, что тетя Дина ни о чем не догадывается. Она, однако, давно распознала этот тайник, но делала вид, что ничего не замечает. Так Данила Васильич тешился своей «военной хитростью», а Надежда Ефимовна радовалась тому, что он тешится, не ведая, что его хитрость разоблачена.

Когда приходит пора разливать, выясняется, что няня, как «верушшая», не пьет «ни чуточки»; Сане, как верующей, тоже не предложишь; а я, к вере не относящийся, не пью по малолетству и по отсутствию природной склонности. Зато ни кто иная, как бабушка, настаивает на том, что кагор — церковное вино и потому его можно пить и верующим, и неверующим. А если по чуть-чуть, то даже детям. Это — ее компромисс. В стране повсеместных возлеяний и безбожия церковное вино продается в любом гастрономе. Людям позволено смачивать кагором сухость безверия, а праздничному хмелю разрешается нарушать вынужденную трезвость повседневности.

Сестры чокаются с дядей Доней, который уже успел под шумок потревожить покой четвертинки.

Няня пробует плюшку:

— Ишь, так и дышитесь...

Я разламываю зефирину на две половинки и прикладываю их к ушам, как радист наушники, то свободней, то плотней. От этого голоса взрослых потешно прерываются и возникают снова. Теперь у меня свой «эфир»!

Тетя Дина: «Донька, и отку... ты их ...лько таскаешь, ...ти ...вертинки? Ну? Признавайся...»

Дядя Доня: «Как отку...? Из «Елисе...», ...зве ты не знаешь?..»

Тетя Дина: «Я давно хо ...бе ...азать. Давай часы продадим? Они мне ...ать мешают. Всю ночь ...нят и звонят».

Дядя Доня: «Как продадим? Ты что?!. Лучше я их бу... очью ... авливать».

Няня строго на меня смотрит. Будь мы наедине, уж она бы меня отчитала:

— Положи, зехвир, рикшетник! Ишь чего учудил: к вушам прикладать!

— Это — радио.

— Какое тебе радива? Положь, говорю, на место, непослушник, покули к вушам не прилипло! Едой не играют. А то маме пожалюсь, усе доскажу. Будеть тебе «радива»...

Однако в присутствии родственников Филипповна только мягко сетует, как бы прося снизить к моему возрасту:

— Другой раз такое удумать: и смех и грех. Несмысленный...

Бабушка всех угощает, а сама почти ничего не ест. Отщипнет виточек плюшки, слижет вареньице с кончика ложки, а зефир — ни-ни! Несколько рюмочек кагора заставили бабушку приятно порозоветь, вспомнить родной Кирсанов, женскую гимназию, любимую подругу Марью Клавдиевну...

Я откусываю по очереди от каждого наушника, держа их в ладошках. Когда от зефира не остается ни крошечки, мне хочется спросить бабушку: «А кто был папой у Марьи Клавдиевны? Тетя Клава?», но спать мне хочется еще больше, чем спрашивать, и меня, качающегося от всех впечатлений этого долгого вечера, ведут к раскладушке.

\* \* \*

Спустя несколько дней Филипповна спросила, не видел ли я чего ночью, когда мы были у бабушки. Удостоверившись, что крепко спал и не видел, она умолкла, но чувствовалось, что ей не терпится поделиться со мной чем-то необыкновенным, тем, что я проспал, а она — нет.

Филипповна ходила-ходила вокруг меня, а потом все-таки не выдержала:

— Ну, слушай, чего я тебе расскажу. Кады усе разошлись, гости-то, я спать уkladась на диванчике, и Валентина Ехимовна тоже разделась, укладается у себе на карвати. Свет потушила, ланпочку. Навроде как спать. И я заснула.

Сколько там у времени прошло не знаю, только у во снях мене деется, быдто хто по комнате шаркаить. Туды-сюды. Туды-сюды. Батюшки мои!.. А я уж тутa и проснулась. Гляжу: ланпочка маленькая опять горить. Валентина Ехимовна у платье, как при гостях была, открываить бухвет, достааеть оттудова посуду, чайник, брикосовое варенье. Плюшки вытаскиваить, зехвир, и усе на стол станóвить. Никак чай пить собралась? Я прижухла, не ворохаюсь. А она-то, примечай, за стол садитя, чаю себе наливаить, варенье в розеточку накладываить. К одной плюшке прикачнулась, к другой присуседилась... Ишшо чаю подливаить. Глянь-кось, уже и к зехвиру подобралась... Усе поела, попила и снова спать ложитя, быдто ничего и не былó!

Филипповна поражена, а я нет. Что тут такого? Есть захотелось, вот и поела.

— Дак посередь ночи, кады усе спать! Вумник! Ты подумай головой своей: хто по ночам зехвир кушаить?

— Ну, и что? Она же весь вечер гостей потчевала. А сама стеснялась. А потом ей захотелось.

— Усе рамно — грех.

— Какой грех?

— Обнаковенный...

Река жизни для меня еще только начала свой бег, она не успела удалиться от истоков, а сколько уже событий, впечатлений, загадок!

Оказывается: это не ванна нас принимает, это мы принимаем ее.

Оказывается: тетя Дина знает, что дядя Доня прячет шкалики в часах, но делает вид, что не знает. А, может, и он только делает вид, что она не знает?

А бабушкино тайноядение? Разве она монашка, которая не в силах побороть тяготы поста́ и потому вынуждена, скрываясь ото всех, преступать запретную черту, когда ее никто не видит? Бабушка всех угощала, а сама воздерживалась. Она так захотела. А потом расхотела... Но что за черту она преступила? Только ту, которую начертила себе сама или какую-то общепринятую?

А Марья Клавдиевна? Почему «Клавдиевна»? Как зовут ее папу? Мужчины Клавами не бывают! Клавдия мне уже встречалась, а Клавдий еще поджидает где-то ниже по течению, на каких-то неведомых берегах...

*Шумит, бежит Гвадалквивир...*

«ГАГИ»

Цветочная клумба-конус посреди сквера напротив нашего дома — клумба, ступить на которую летом нечего было и думать, с началом зимы превращалась в снежную горку

с ледяной дорожкой, и мы, ребятня, облепляли ее от подножья до вершины. С горки катались на санках, съезжали на вертящихся тощих картонках по льду, устраивая внизу кучу-малу. Но все это были лишь «цветочки», и только когда подмораживало как следует, когда со склонов сдувало лишний снег, а наст делался твердым, катучим, как лед, — только тогда из окрестных подъездов на негнущихся, точно ходульки, заметно вытянувшихся ножках медленно и важно выступали наши чемпионы, наши конькобежцы — румяная, тугая, как бутон, первоклашка Ирэн из девятой квартиры; краса подвалов бледнолицый Пантелей; поджаристый, как сухарь, чернявый цыганенок Бочарик...

Каждый их шаг по направлению к горе внятно говорил о том, что они саночникам не чета. Что санки по сравнению с их увлечением — стремительным и опасным? И если мы падаем со своих приземистых салазков, то каково им, конькобежцам, удерживаться в вертикальном положении? Мы прочно пластаемся над широкими полозьями, а они, бегуны, там, наверху, на юру, открытые всем ветрам, качаются на узких, шатучих лезвиях, норовящих выскользнуть из-под ног... В общем, примотанные к валенкам, туго-натуго закрученные палочками «снегурки» с носками, завернутыми наподобие древнерусских ладей, ставили их владельцев на голову выше нас. А у Бочарика были даже не «снегурочки», а вообще не выговорить: двухполозный «английский спорт»!

К числу моих любимых радиопередач уже прибавилась новая: «Внимание, на старт!..» Она начиналась в полпятого, в зимних незаметно сгущавшихся сумерках, когда зажигались уютные огни и в них искрились, проблескивая, легко сновавшие за окном снежинки, казалось убыстрявшие свой полет в волнах упруго звенящего марша:

*Внимание, на старт!..  
Нас дорожка зовет беговая.  
Внимание, на старт!..  
Пусть вдогонку нам ветер летит.*

И я мысленно устремлялся на неведомые вечерние катки, в их вдохновенную сумятицу, музыку, лоск шумно и резко расчирканного лезвиями льда...

Дома, корпя над уроками, я принялся усердно рисовать шершавым школьным перышком на рыхлых промокашках закругленные, как качалочки, «канады», высокие «гаги», длинные «норвеги», похожие на отточенные кинжалы, а поперек промокашки выписывал через «а» волшебно расплывавшееся слово: «каньки».

— Что ж ты «коньки» через «а» пишешь, грамотей? — спрашивал папа, машинально заглядывая ко мне в тетрадку. — Или не знаешь, как проверить?

— Знаю.

— Какое проверочное слово?

— Каток...

— Сам ты «каток»... Не каток, а конь. Кони. Два конька. Значит, как надо написать?

— Значит, надо коньки.

— Исправь.

И здесь же на промокашке я проделывал «работу над ошибками», любовно и прилежно вытягивая освященную папиным авторитетом строчку: «коньки — коньки — коньки — коньки...»

У меня была такая примета: если мне чего-то ужасно хотелось, я убеждал себя, что это никогда не произойдет. «Нет, нет, нет!» — твердил я про себя, как заклятье, и тогда желание сбывалось.

— Никогда мне не подарят коньки, ни за что! Не будет тебе никаких коньков! — повторял я шепотом, чтобы никто не услышал, ведь свою мечту я хранил в тайне и мне казалось, что и впрямь никто о ней не догадывается.

Между тем настало 5 февраля — мой день рождения. Обычно подарки мне клали на стул возле кушетки поздно вечером, когда я засыпал. В то утро, проснувшись, но, не раскрывая глаз, я в последний раз произнес магическое заклятье, призывая родителей внять моим мольбам и ни за что на свете не дарить... все, что угодно, любой другой подарок, только не...

На стуле рядом с вязаными варежками лежали новенькие «гаги»!



Выходить с коньками на сквер было, по папиным словам, *не серьезно*. Учиться кататься следовало на катке. У папы коньки были, у мамы тоже, правда, держаться на них мама не умела.

— Вот вместе и поучитесь, — сказал папа. — А то можем и Филлиповну с собой прихватить...

— У мене коньков нетути, — ответила няня, улыбаясь.

— Ничего. Там напрокат дадут.

— Как это «напрокат»?

— Прокатиться.

— Ишь, чего удумали: «напрокат»! Да я по протувару-то хожу-качаюсь, как бы не осклизнуться, а тут: «напрокат»...

— А на какой каток мы поедем? — спросил я.

— Давайте в Парк культуры! — предложил папа.

— Имени Горького?!

— На каток для начинающих.

Однако в Парк культуры мы не поехали. Мы туда пошли. Пешком. Вечером в ближайшую субботу втроем с тремя парами «гаг» покинули мы дом Перцова, завернули направо на набережную и, шагая вдоль реки, миновали игрушечное, аккуратно-низенькое монгольское посольство, французскую военную миссию, длинный завод, зимой и летом припорошенный белесой цементной пылью и остроугольный «American Hause»<sup>1</sup>, чтобы высоко подняться на Крымский, украшенный висячими опорами мост, откуда виден был весь парк — иллюминированный, веселый, клубившийся в прожекторах морозной пылью, заставлявший волноваться, услышав отдаленные наплывы музыки — тот самый Парк, *не* попасть в который я «мечтал» так же горячо, как и *не* получить в подарок коньки!

У входа работала точильная мастерская. Она изготовляла, клепала, затачивала... Лохматый точильщик в прожженном фартуке зажал кургузыми пальцами мои драгоценные конечки и, пританцовывая перед бешено вертевшимся камнем, как

<sup>1</sup> «American Hause» (англ.) — «Американский дом».

шаман, осыпал всё вокруг искрами радужно расцветшей крошащейся стали.

— Бр-ритвы, а не «гаги»! Из Гаги,— одобрил папа, коснувшись кромки.

Мы шли по заснеженным пешеходным дорожкам парка, пересекали ледяные аллеи, лавируя между катающейся публикой. Из-за наших спин вышныривали мальчишки. Крест-накрест взявшись за руки, в горделивом молчании мимо проплыла какая-то пожилая пара. Черными торпедами мощно пронзали воздух «спецы» на «ножах». Мама вздрагивала:

— Ой... Как я их боюсь!.. Они тут так вжикают...

На отдельном катке за сеткой тренировались подтянутые фигуристы. Они выделяли свои пируэты (прыжки, «ласточки», «пистолетики») с такой раскованностью, что моя робость: «Как я встану на лед?» — совершенно улетучилась. «Так и встану. Легко и просто!»

Каток для начинающих, тоже огороженный, приветствовал нас «Вальсом цветов» Чайковского и принял в объятия жарко натопленной раздевалки с дощатыми полами. Мы уселись на пустую скамью. Зашнуровав три пары «гаг», папа несколько утомился и поскучнел, но кататься ему не расхотелось.

С усилием я поднялся на ноги и почувствовал себя довольно неустойчиво. Новичка покачивало, точно Филипповну на *протуваре*. Он неловко переступал по мягкому полу, держась за спинку скамейки.

Не без труда папа вывел нас с мамой на лед, который начинался сразу от порога раздевалки и полностью отвечал своему основному свойству: был скользким. Оступавшиеся еще на полу, теперь мы просто вцепились в папины рукава с обеих сторон, неизвестно, кто крепче. Дергаясь и спотыкаясь, то нелепо выворачиваясь на сторону, то схлопываясь, как клоуны, мы одной неразлучной семьей доковыляли до первого попавшегося сугроба на краю катка, куда и были поставлены нашим ведомым, точнее, водружены им наподобие памятника спортивной славы. В снегу я вновь обрел относительную устойчивость и огляделся по сторонам.



Каток был великолепен! Идеально залитый лед переливался, отсверкивая цветными огоньками, синел, как затвердевший кусок неба и был лишь слегка расцарапан стрелками коньков. Оживленный хоровод нарядно скользил по кругу теперь уже под мелодию «Венского вальса». Кто умел держаться на коньках, держался, покачиваемый музыкой Штрауса; кто не умел, сидел в креслице на высоких полозьях и его катали: приятно, протяжно, с легким ветерком.

— Я хочу в креслице! — сказала мама.

— И я тоже...

Папа пригнал два незанятых кресла, чтобы, — ну, совсем другое дело! — мы, начали по-настоящему кататься. Маму такой способ обучения устраивал вполне, а мне удовольствие от удобного скольжения сидя подпорчивала мысль о том, что пересесть с санок в кресло — не фокус, а вот как бы на ноги встать? Впрочем, такая возможность представилась очень скоро.

Немного побаловав нас, папа отказался от роли добровольного рикши, предложил самим катать креслица и умчался по кругу.

Катать пустое кресло, может быть, и лучше, чем вообще остаться без опоры, но хуже, чем восседать на гладких речках подвижного трона. Мы с мамой поторкались-поторкались взад-вперед, ненароком переча общему движению, попробовали повозить друг дружку и даже рискнули проехаться, взявшись крест-накрест за руки, отчего благополучно зарулили в сугроб.

Папа подкатил, шикарно тормознув, пушисто взбив из-под конька фонтанчик ледяной пыли, и сказал мне:

— Ну, давай ручку. Поучу.

И я стал учиться. Ноги мои то расползались, как чужие, то заплетались так, словно перепутались ботинки. Я хлопнулся — раз, шлепнулся — два-с, гогнулся — три-с, шандарахнулся — четыре, и, наконец, слетел с катушек — пять! Коллекцию классических фигурных пируэтов дополнили мои авторские па типа: «рыбкой на лед», «на карачках», «остановка в человека». Мама волновалась за меня, не выпуская из рук спинку спасительного креслица. Колески мои стали дрожать, а ступни подворачиваться, и я застонал:

— Не могу больше! Ноги устали...

- А ты через «не могу», — настаивал отец.
- Не хочу через «не могу»!
- А ты через «не хочу».
- Не буду!

Наконец, папа сжалился:

Ну, тогда хватит. Пошли в буфет кофе пить!

Он подвез нас к раздевалке и по неожиданно вязким, совсем нескользким доскам мы, стуча коньками, добрались до буфета.

Боже! Каким райским напитком, каким нектаром показался мне горячий коричнево-серый брандахлыст, подслащенный и забеленный сгущенным молоком! Как изумил промасленный, густо нашпигованный изюмом клеклый кекс, намертво впечатавшийся в сырую вощеную бумажку! Как впечатлил граненый стакан с паучьей трещинкой на доньшке — благородный сосуд, хранивший в себе эдемский дар под именем «Кофе слабое»! С каким наслаждением вытянулся ходок по льду на неподвижно-жесткой скамье!

Подкрепившись, отдохнув и отогревшись, мы снова вышли на лед. Народа на катке прибавилось. Креслице нашлось только одно — для мамы, а я возобновил уроки катания. Это выглядело, как первое чтение, как чтение по складам: с задержками, шевелением губами, запинками, ошибками, повторами:

Ты: *«Ка-ток был пе... пы... (ноги твои заплелись, как язык) по-лон. Лед зво-но́к».*

Голос папы: *«Не звоно́к, а зво́нок».*

Ты: *«Лед зво́-нок. Ме... бе...» (упал, лежишь).*

Папа: *«Ни бэ ни мэ. Вставай. Чего улегся?»*

Ты (вставая): *«Бе... да ка-кой скольз-кий. — Папа держал меня. — О-бе-и-ми ру... ру... ру...»*

Конечно, ты уже давно догадался, что *руками*, но это же надо было прочесть, то есть выговорить, то есть изобразить ногами!..

Между тем черновик, который ты выписывал «гагами» по льду, вообще не поддавался расшифровке. Ты оставлял за собой мешанину рисок, штрихов, загогулин, выбоинок и клякс от спотыканий. Но письмо «гагами» упорно продолжалось, подобно начальному чтению, и «конькобежец» *па... по-сте-пан... опять запутался в ногах, нет, по-сте-пен-но, спер-ва роб-ко, а по-том*

*все у-у-ве-рен-ней и у-ве-рен-ней..., о-тор-вав-шись...* от отцовских рук, стал скользить по кренящимся, морозным, наполненным твердой голубизной зеркалам; по зеркалам, подернутым колючей сахарной пылью, окаймленным темной рамой живых деревьев; по граням, отразившим тени новичков и высоких ассов, со свистом рассекавших ледяное пространство, и вот — вырвался на набережную, на вольный простор, сразу обдавший холодным ветром, защипавшим щеки — на варварскую ширь затертой льдами февральской реки, а папа промчался навстречу, как бы не замечая, исчез за поворотом и снова возник, ища тебя взглядом — нашел, устремился за тобой, а ты весело юркнул в запутанные аллейки, вечную толчею и неразбериху дорожек, закоулков, переходов, тупичков, развилок...

На одной из них вы снова разминулись, — он мелькнул в толпе среди деревьев и скрылся из глаз: где он, где? — вынырнул у каруселей, а ты катишься спиной вперед, тормозишь, перевернулся на ходу, крутанул креслице, и мама закружилась в нем с мнимым испугом и непритворным восторгом; и все, что когда-то казалось протяженным, беспомощным, медленным, разлученным во времени, разрозненно ползущим вкривь и вкось, теперь убыстрилось, выровнялось, схватилось в памяти преображенно, нерасторжимо и прочно, как одно неиссякаемое мгновенье!

## ЛИМОННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Акулина Филипповна собирается пить чай. Сначала она обваривает крутым кипятком фаянсовый чайничек в красный горошек. Сливают кипяток. Потом засыпает жменю сухой *индейской* заварки, обдав ее плещущей, пузырящейся, добела раскаленной струей и оставляет настояться.

Пока настаивается, достает разбегающуюся кверху, как луговой колокольчик, звоном отзывающуюся чашку на блюде, помеченном горсткой ломких трещинок — паучьих морщинок.

Берет литой, как колокол, свекольный рафинад родных приднепровских полей и что-нибудь сладкое, но *мяконькое*, не

*каляное — по зубам:* пастилу, зефиринку, мармелад, но никогда — сухари и сушки. (— У меня зубов нетути, чем хрысть. — А где они? — А и кто ж их знать? Съелись...)

На самом деле зубы у Филипповны есть, но их мало, больше розовых десен, а те, что остались, даже не зубы — зубчики: маленькие-маленькие, стесанные временем, расшатанные частой бескормией, всем пустодомством войн, выпавших на ее долю. Так что теперь няня и пряник-то не укусит. Ей нужно то, что можно *хубами исть*.

Чай наливается аккуратно, без брызг. Настает черед главному действию, превращающему обычное «чайку попить» в целую Лимонную церемонию.

— Чтой-то кисленького страсть как хотца! — говорит няня, вынимая из шкафчика маленький иззелена-желтый лимон-недоспелок или в ее произношении (чуть в нос, *по-храницки*): *лямон*.

Этот фрукт у нее — в большой чести. Принадлежит к высокому рангу вещей *пользительных*, он поражает няню воображением резкой отчетливостью вкуса. Лимон для нее не просто *хрукт*, а знаменье кислого, как сахар — олицетворенная сладость. Однако, помимо уважения, по причине все той же принципиальной едкости его нрава, няня заметно побаивается лимона. Всегда с опаской ошпарит его, словно усмиряя, затем долго примеривается липким жалом ножа к желтой пупырчатой шкурке и не отрезает — нет! — *отхватывает* плоскую горбушку, веруя в то, что лишь мгновенно отхватив кусок, можно укротить строптивый фрукт.

Теперь он лежит перед Филипповной во всей красе, поблескивая отпугивающе-желанными каплями сока, матово отливая рассеченной пополам горько-серебряной косточкой, прельщая шелковистыми прожилками недоспевшей изумрудно-влажной мякоти, напоминая в разрезе колесико с изогнутыми спицами, смещенной осью и тонким ободком солнечной цедры. Лимон лучится на кремовой скатерти, а вокруг него, как планеты, кружатся чайничек, сахарница, чашка, рафинадные щипчики, малиновый брус пастилы или половинка зефира, сахарно мерцающая в лимонных лучах.

Няня вдыхает аромат свежего среза и крепко произносит: «А!..» — что означает: «Бьет! Пробирает! То, что надо!»

Среди русских крестьян встречаются иногда большие эстеты, но их восхищенье красотою Божьих даров обычно уравновешено мыслью о *пользительности* дара и оттого защищено от избыточного наслаждения, от любования как такового. Ни разу в жизни Филипповне не пришло на ум пустить вдоль ниспадающих складок скатерти длинно завивающееся кружево фруктовой пряжи — лимонную кудель, как это любили делать старые фламандские живописцы, или подождать, пока лимон усохнет, скукожится, утратит свою звериную, первобытную сочность и приобретет черты, присущие натюрморту, но чуждые живой природе чаепития. А потому без всяких смакований толстый ломтик отправляется прямо в чай.

Филипповна отпивает первый глоток. Хорошо! Но кисло. Надо *подсластить*...

Гнутыми железными щипчиками с непопадающими друг на друга зубцами няня в кулаке — дабы не разлетелось ни крошечки! — разламывает кусок сахара, такой твердый, что *хоть топором руби*. Теперь — сладко.

Начинается питье с прихлебываньем и прихлюпываньем, со словами: «Укусно!» или: «Чтой-то у меня зехвир зачерствивел? Как же ето я об нем забыла? Уж память не та стала...»

В школу я еще не хожу, времени не считаю. Мне интересно все. Но особенно — все веселое, и, особенно, то веселое, что и не думает меня смешить, а смешно само по себе.

Я сижу за столом напротив няни и, копируя ее чинность, неторопливо дую в блюдце, поставленное на растопыренные пальчики — гоню чайные волны к другому берегу.

— Прихлебывай, птушенька, прихлебывай! — поощряет меня Филипповна.

И я кружу губами над блюдцем и дую сильней, как западный ветер Зефир. В панике мчатся от меня по бурным волнам черные чайники-кораблики, а волны уже перехлестывают через бортик...

- Ну, хватить рикошетничать! Вишь: скатерть облил.
- Я — Зефир! — объясняю причину морского волнения.
- Не путляй, зехвир едят.

Тем временем нянин чай допит. Ложечкой поддевает она ломтик лимона. И тут затевается великая борьба с искушением: макнуть лимон в сахарную крошку или нет? Макнуть или нет?.. Не макнешь — *пользительно*, но *ужасть* как кисло («Вырви хлаз!..») Макнешь — слаще, зато не так полезно. Этот момент — самый важный во всей церемонии. Ее финал зависит от решения, которое примет сейчас Филипповна. Если макнет, то ничего интересного не случится. Лишь бы не макнула! Лишь бы не макнула! И тогда...

Проглотить ломтик сразу невозможно. Хоть сколько-нибудь, а надо его пожевать. Некоторое время няня жует лимон. Богатство ее мимики становится несравненным. Она жмурится, морщится, щурится, строит мины одну кислее другой, отмахивается, точно от нечистой силы, передергиваясь, крутит шейю, выбрасывает кверху руки, как будто разряд молнии простреливает ее насквозь, кислым током прошивая язык и отнимая дар речи.

Выдержав зияющую открытым ртом паузу, речь возвращается к несчастной почитательнице лимонов, начиная с покряхтываньи: «А!», с междометия: «Ох!», с проклятия: «Штыб тебе завалило!..»

На глаза Филипповны наворачиваются слезы. Я хохочу, и губы ее растягиваются в улыбке:

— И смех, и грех! Ешь ты теперь...

Срываю зубами мякоть с цедры и тоже перекашиваюсь от неусветной кислятины. Скорей заесть! А няня, не спеша, убирает со стола остатки нашего пиршества. Не стряхивает в ладонь (это не клеенка), а сощипывает крошки, цепляющиеся за шершавинки скатерти. Ставит лимон дозревать в шкаф.

— Ну, вот и усе чисто... Бог напитал — никто не увидал! — завершает Лимонную церемонию Акулина Филипповна.

## МЕЖДУ РАМАМИ

Целый век спустя после Лимонной церемонии в Москве, в Историческом музее открылась выставка «Наше счастливое детство». Захотелось вспомнить, как мы жили. Я пошел. Боже, какая

бедность предстала глазам, что за скудное существование мы, оказывается, влачили!

Все эти вечно подтекающие краны; копящие, вонючие керосинки с потрескавшимся слюдяным окошечком, за которым плещется слабый огонек. А подоткнутые газетой под пятку шаткие этажерки? А хриплые приемнички, рассчитанные лишь на московскую городскую сеть? А черный как кусок угля телефон с заедающим диском — хорошо, если один на весь дом?..

Белье кипятили в баках на общей кухне, стирали в тазах на ребристых стиральных досках, сушили на замусоренных сквозных чердаках. Четверть Москвы жила в подвалах, четверть — в бараках. Кремль казался пустым и лишь мерцал штыком часового, сторожившего его державный покой, охранявшего власть, еще не освободившуюся от вождя лесов, полей и рек... Граница на замке!

Слово «холодильник» означало тогда только многоэтажный глухой «кирпич» на Таганке, где каменели распиленные вдоль хребта бычьи туши да обрастали ледяной щетиной кубы сливочного масла, неподъемные, как свинец.

Какие еще пылесосы? Коврики выколачивали палками во дворе, выметали вениками, натрусив с боков сыпучего, пушистого снежку, и уносили, скатав посвежевший ворс изнанкой наружу, оставив знак его пребывания — серый прямоугольник пыли на снегу.

Какие машины, кроме редких швейных? Ножной, дореволюционный «Зингер», как антиквариат, мог украсить комнату, являя в одном лице и технику и мебель. В зеркальных «ЗИМах» ездили министры и генералы, в голубых «Победах» — герои-летчики. Остальным полагался трамвай...

А наша еда? Дежурный пирожок с повидлом и стакан газировки. Оглушенный горчицей зельц и капустный шницель. Серые макароны, похожие на папиросы «Беломор» только без табака. А как же знаменитые бульоны с профитролями? Жюльены и крендели? Струдели и желе? Заливные осетрины? Горы зернистой икры, отливающие черным лаком?

Это за песочным переплетом толстенной книги о вкусной и здоровой пище серебром сервированные столы ломились от

обилия снеди, венчались удлинёнными или короткогорлыми бутылками грузинских вин, с волшебнo звучащими именами: «Гурджаани», «Цинандали», «Киндзмараули», «Аджалеши», а в реальной жизни солдатские «щи да каша» разнообразились летом салатом, зимой — винегретом, на праздник — куском сдобного колеса, испеченного в «алюминиевом чуде».

А наша обувь, наша одежда? Башмаки с грубыми колодками — негнущиеся, одеревеневшие, как сабо. Непроницаемо черные зонты. Последний крик столичной моды — бежевое пальто с накладными карманами и вшитыми прямыми плечами — огромное, точно гроб. Последний писк моды деревенской — как будто облитые подсолнечным маслом, лоснящиеся плюшевые жакеты для ударниц колхозных нив.

Но, почему-то, лишь только забываешь об экспонатах и начинаешь воскрешать прошлое в волшебном фонаре памяти, как все меняется, окрашивается таким добрым светом, согревается таким душевным теплом, настолько преобразается воображением, что бедное, действительно, предстает счастливым, хоть это и не значит, конечно, что богатое было несчастным. Но богатство — не наш опыт и судить о нем не нам.

Как и все вокруг мы жили без холодильника. С поздней осени до ранней весны его заменяло пространство между двойными оконными рамами. Туда, готовясь к приему гостей, мама и ставила остывать свое коронное блюдо — говяжий студень. Сперва горячий, он быстро охлаждался и напоминал мне каток на игрушечном пруду. Темные тени мяса, как глубокие омуты, заливал прозрачный, мягкий желатиновый лед, кое-где припорошенный снежинками жира. От студня ощутимо веяло морозцем.

За окном еще лежал снег, но скорый приход весны чувствовался по участвовавшим оттепелям, когда сухой зимний наст превращался в мокрое месиво, а на припеках беспечно и звонко лило с крыш, или вдруг внутри водосточной трубы что-то, треснув, вздрагивало, обрушивалось, и подтаявший ледяной ком так внезапно и стремительно грохотал по всем пяти этажам перцовского дома, что пригревшийся под трубой кот едва успевал отпрыгнуть и опрометью сигануть в подворотню.



Вступавшая в Москву весна повсюду высылала своих вестников — теплые дуновения, заставлявшие набухать почками красноватые ветки вербы, верещать купавшихся в лужах воробьев, а иного древнего дедулю, приехавшего с мешком глиняных свистулек один Бог знает, откуда — уж не из-под северного ли Каргополя? — остановиться посреди Волхонки, снять шапку и с каким-то родовым, от предков унаследованным благоговением, с тайной дрожью перекреститься на немые кремлевские колокольни.

Но вечерами мороз еще прихватывал, и мамин студень между рамами блестел, как настоящий каток. Не доставало лишь музыки да конькобежцев. Однако стоило включить радио, как музыка являлась, и эфирно-чистый тенор пел о серебримой луной тихой Бренте, о лазурном своде, о ропоте «чуть дробимыя волны», о шорохе миртов и померанцев, а вослед этим волнующим, но мало понятным звукам возникал уже и вовсе неведомый «напев Торкватто гармонических октав», воспринимавшийся мной как нечто, произносимое почти по-итальянски. Но, признаться, слова «Баркаролы» были мне тогда не столь важны. Хватало музыки, одной только музыки, под звуки которой, как страницы старинного альбома, раскрывались воображенные мною картины.

Я видел расписные, узкие гондолы на загнутых полозьях, скользившие, словно сани, по льду желатины. В увитых цветами гондолах шумели нарядные дети, беспокойные и крикливые, как птенчики чаек. Красивые дамы с открытыми плечами обмахивались веерами, точно они прибыли не на каток, а в оперу. Знатные вельможи обменивались новостями с двух английских фрегатов, приведших из Вест-Индии команду каравелл с грузом пряностей и кофе. В Карибском море на них напали пираты и фрегатам пришлось окутать палубы дымом своих батарей... Хоть я и не был уверен в том, что каравелла — судно торговое, а не военное, отчего-то мне так хотелось, чтобы под музыку *баркаролы* швартовались именно *каравеллы*!

Силачи-гондольеры в золоченых куртках толкали гондолы, упираясь в приподнятые надо льдом узорные кормы. Вольные

бегуны в развевающихся карнавальных одеждах разгонялись по сторонам на длинных «ножах» — варяжских коньках, чуть подтопленных в подтаявшем льду.

Блестящие, в огнях, палаццо вывешивали из окон на стены мраморные ковры своих цветных орнаментов. А тем временем гитары раздвигали воздух, давая место вступавшим следом ман-долинам, — таким печальным, таким томительно-счастливым! Их сдвоенные струны вибрировали от прикосновений миндальных косточек, заменявших медиаторы<sup>1</sup> старинным музыкантам. На мандолинах играли миндалем!

И вся эта маленькая Венеция баркарол, каравелл и гондольеров, представленная мною по рассказам, слухам и картинкам, — радостная, танцующая, родная, — отражаясь в зеркале льда, животворилась моим собственным вымыслом под музыку на воде, забранной в шершавый панцирь марта, вспыхивала шутихами шуршащих змей, озарявших черноту и ликовала, ликовала, ликовала не где-нибудь в Италии, где и посреди зимы-то на лед страшно ступить, — такой он ненадежный, хрупкий и ломкий, — а здесь, дома, между двух рам, затененных изнутри виноградными листьями шитой шторы, засыпанных снаружи снежными цветами московской метели, — здесь, на волшебном покрове мамино го ступня.

## КОНФЕТКУ ИЛИ ЯБЛОЧКО?

Вопрос выбора часто оказывался для меня затруднительным. Особенно, если выбирать приходилось между одним очень хорошим и другим, тоже очень хорошим.

Перед сном мама давала мне что-нибудь вкусное, когда оно было в доме. Обычно — яблочко или конфетку, предлагая на выбор либо то, либо это. А мне хотелось и конфетку, и яблочко! Я долго выбирал, а потом нерешительно просил и то, и другое.

<sup>1</sup> Медиатор — здесь: миндалевидная костяная пластинка для извлечения звука.

Потому-то мне так нравилась советская избирательная система. В ней избирателям рекомендовались и «конфетка», и «яблочко» одновременно, то есть два кандидата на два места — в Верховный Совет СССР и в местный Совет депутатов трудящихся. Выбор состоял не в том, за кого голосовать, а в том, голосовать или нет. Можно было и отказаться. Вообще-то... Но отказываться было нельзя. Такое никому даже в голову не приходило. Как это, не голосовать, когда *все* голосуют?

Итак, я осваивал новый для себя праздник — День выборов. Наш избирательный участок помещался в ближайшей от нас 41-й школе в Обыденском переулке, за церковью. Туда нам и надлежало направить свои стопы.

Вечером накануне праздничного дня к нам домой приходил агитатор. Он усиленно агитировал нас, то есть убеждал не отказываться от своего гражданского долга (хотя мы и не думали отказываться!) и отдать свои голоса за кандидатов «нерушимого блока коммунистов и беспартийных» — за двух самых достойных. Он разъяснял, что выдвинутый в Верховный Совет СССР начальник цеха электрических лампочек Электролампового завода им. Яблочкова — очень хороший начальник цеха. Его лампочки горят у нас в доме и не перегорают.

— Перегорают, — не соглашалась Филипповна, улыбаясь. — Как же не перегорают, кады надьса сама увькучивала на калидоре?

Агитатор тоже улыбался в ответ, воспринимая нянины слова, как дружескую шутку. Лампочки, конечно, могли перегорать, но тоже как бы в шутку, чтобы все порадовались внезапно наступившей темноте: горело-горело и вдруг хлоп и погасло! А если говорить серьезно, то:

— Простите, как ваше имя-отчество?

— Хвилипьевна.

— А полностью?

— Акулина Хвилипьевна.

— Акулина Филипповна, в лампочке светится вольфрамовый волосочек. Температура его плавления — свыше трех тысяч градусов. Понимаете, как его надо раскалить, чтобы он перегорел?

Вольфрам — тугоплавкий металл. Он обеспечивает надежность и долговечность изделия.

Это няня, конечно же, понимала, а *все-таки увыкручивала...*

Я молчал, но внутренне негодовал на няню из-за того, что жизненно важный для всех вопрос политического выбора она путает с такой ерундой, как погасший в коридоре свет. Пропагандисту приходилось тратить драгоценное время на вольфрамовый волосок вместо того, чтобы сосредоточиться на процедуре голосования или растолковать мне недоработки в «Положении о выборах». Почему, например, генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин баллотируется по единственному избирательному округу, а не по всем сразу? Почему некоторым так везет, что они голосуют за маршала Клима Ворошилова, тогда как другим достается начальник цеха, пусть и очень хороший, но все-таки хуже Ворошилова?

Эти жгучие для меня вопросы няня перебила своим неуместным замечанием о перегоревшей лампочке. Агитатор так расстроился из-за того, что у нас нет света в коридоре, что, казалось, был готов подарить няне новую лампу. А как хорошо было бы получить в подарок лампочку Ильича с завода им. Яблочкова! Кроме заведомой добротности изделия, меня неосознанно радовала эта сочная звукопись на «ч» и капельная на «л», эта внутренняя рифма: яблочки я любил, лампочки тоже.

— А кто выдвинут по нашему округу в местный совет? — спросил папа, увы, скорее из вежливости, нежели из неподдельного интереса.

— Укладчица орденоносной кондитерской фабрики. Очень хорошая укладчица! — живо отозвался пропагандист.

— И что ж это она укладывать? — полюбопытствовала няня.

— Она укладывает конфеты.

— Сладь! — воскликнула Филипповна и неожиданно добавила: — Ох, от енттой сласти у мене зубы ломить...

Ну, это уж было слишком! Ломит — не ешь, но причем тут голосование?

Я боялся, что Филипповна вспомнит еще и о недавней денежной реформе или, как она говорила, *лесхорме*, обесценившей все

ее сбережения. С тех пор малейшие слухи о возможных новых *лесхормах* чего бы то ни было сеяли в няне панический страх. Однако, от этого воспоминания она воздержалась. Просто ей было приятно поговорить с агитатором, а личное выше общественного она не поставила.

Убедившись в том, что наша семья от выборов не отказывается, агитатор попросил нас прийти пораньше и проголосовать с утра, чтобы он был спокоен.

Так мы и поступили. Папа жил в своем режиме и голосовал отдельно, а мы с мамой и Филипповной сразу после завтрака собрались идти в участок. Все нарядно оделись. Няня повязала перед зеркалом выходной платочек, застегнула на все пуговики чистенькую *кобеднешнюю кохточку*, и мы отправились в путь.

Пересекли скверик, поднялись на горку к церкви, вошли в школу. Там было так красиво... Кругом — плакаты и красные транспаранты с непонятными белыми буквами.

— Мам, что здесь написано?

— «Все — на выборы!»

— А там?

— «Отдадим голоса лучшим сыновьям и дочерям народа!»

Играет патриотическая музыка. И какая предупредительность по отношению к избирателям со стороны людей, обслуживающих выборы! С нами здороваются, нам показывают, куда идти, передают нас по цепочке из рук в руки... Ни с чем подобным я прежде не сталкивался. Верно, и няня тоже. От заботы и внимания ей сделалось дурно. Вот ноги ее слегка подкашиваются, она произносит что-то вроде:

— Свят! Свят!.. — и тут же два молодых человека — комсомольские активисты — подхватывают ее с обеих сторон. Избирательнице не должно быть плохо на выборах, ей должно быть хорошо!

— На каком витаже вурны? — как-то подозрительно ослабев, но со знанием дела спрашивает Филипповна, опираясь на крепкие руки активистов.

— На третьем, — отвечает актив.

— А лихта нетути?

— Чего?

— Какой тут лифт? Это же школа, — говорит мама.

— Чижало по лестницам. Чувствую себе... — шевелит губами няня, не завершая сообщение о том, как именно она себя чувствует. Однако из того, что ей *чижало*, следует, что чувствует она себя неважно, может и не дойти до цели и не исполнить свой гражданский долг.

Комсомольцев охватывает беспокойство. Под угрозой — считанный голос и есть опасение, что избирательница не сумеет его подать. И парни, — а в моих глазах — взрослые дяди, — любовно, бережно поддерживая няню, с величайшим почтением возносят ее как Царицу Небесную по белой парадной лестнице, устланной красными коврами с золотой оторочкой; по лестнице, сложенной такими легкими, такими плоскими ступенями, что они сами поднимают тебя на любой этаж, но таинственным образом именно сегодня оказываются неприступными для Филипповны.

В Актовом зале на третьем этаже, в святая святых, установлены приземистые как медовые колоды, коричневые урны для голосования. Глуховатая напряженность — как на пасеке. Торжественность — будто в храме во время богослужения. Над колодами стоит мерный гул и роятся, роятся, роятся бюллетени прежде, чем влететь, заползти, протиснуться в узкие щелки колод. А чин Избирательной комиссии — басовитый осанистый бородач, точно дьякон, похаживает среди встревоженной паствы, и чудится: вместо утраченного: «Аллилуйя! Аллилуйя!» звучит вновь обретенное: «Голосуйя! Голосуйя!»

Пожалуй, более всего это напоминает фантастическую литургию на пчельнике в момент массового прилета. Как «взятки» в соты сносятся в урны лакомые бюллетени. Приглушенно поет партийный хор. Те же сосредоточенность, чинность, точность, размеренность. Те же «насекомые» танцы рук над урнами, те же пасы взволнованных пальцев. Те же хвалы, но возносимые не сокрушенному Создателю, а нерушимому блоку...

Подобие скрытых ниш для исповеди — занавешенные рыхлым и пухлым вишневым бархатом кабинки для тайного

голосования. Оказывается, изъявлять свою волю можно не только открыто, но и тайно! Замечаю, однако, что в кабинки почти никто не входит. Да и зачем таиться? Это выглядит даже неблагоприятно, как будто у тебя есть секреты от советской власти! Тем не менее, возможность посекретничать предусмотрена. И я опять испытываю замешательство. Как лучше голосовать маме и няне: открыто или тайно? Жаль, что нельзя, и открыто, и тайно одновременно, ведь так любопытно заглянуть в кабинку: что происходит там, за плотными складками бархата? А вдруг там приготовлен какой-нибудь сладкий сюрприз: чашка яблочного компота или пурпурная коробочка ассорти «Бегущий олень» с серебряными щипчиками, чтобы сподручней было поддевать конфетки? А, может быть, там, в загадочных драпировках прячется умудренный опытом и облеченный доверием Товарищ, готовый подсказать верное решение сомневающемуся избирателю? Все это совершенно завораживает...

А смущает одно: слово «урны». Я знаю, что существуют урны для мусора. Бывают еще урны с прахом. Но разве избирательные бюллетени — мусор? Разве они — прах? Зачем же тогда опускать их надо непременно в *урны*? Неужели нельзя во что-нибудь другое? Слово «урны» откликается во мне каким-то трауром, хотя я, конечно, не догадываюсь, что оно и по звуку полностью укладывается в слово *траурный*, придавая голосованию совсем неподходящий для него оттенок панихиды. А еще меня беспокоит, чтобы няня по ошибке не опустила в урну паспорт вместо бюллетеня. Хорошо, что она заранее поинтересовалась, *куда бюллетень, а куда паспорт*, и ничего не перепутала: подала один голос за коммуниста «Яблочкова», другой — за беспартийную «Конфеткину», а паспорт оставила себе. Правда, няня почему-то чуть-чуть помедлила над избирательной щелкой, словно колеблясь: бросать — не бросать? А мамыны бюллетени я опустил сам и был доволен тем, что они не застряли, потому что у некоторых застревают, и приходилось проталкивать свой голос в прорезь как бы насильно: урна не хотела его принимать, а ее заставляли...

По выходе из зала те же молодые люди участливо спросили у няни, как она себя чувствует, не надо ли чем помочь? И Филипповна уже привычно приподняла руки, точно опираясь на подлокотники невидимого кресла. И «подлокотники» тотчас явились, и, плавно покачиваясь, она сошла по парадным ступеням под торжественный марш в сопровождении двух преданных (до вестибюля) пажей.

На улице няня моментально обрела былую твердость походки, четко шагая по *протувару*, а когда тротуар кончился, просто взлетела на наш четвертый этаж, опередив и маму, и меня.

Я испытывал неловкость за тот «театр», который няня устроила на лестнице в школе, поскольку плохое самочувствие она разыграла. Ведь на самом деле она чувствовала себя нормально... Но теперь, по прошествии лет, вспоминая тот день, я, кажется, догадываюсь о причине, побудившей Филипповну придать своему выбору столь яркий театральный эффект.

Всю жизнь власть унижала ее, как могла. Сгибала в три погибели директивами и указами. Пустопорожними трудоднями. Мешком сорного проса за месяцы полевых работ. Большим произволом и мелким самоуправством. Хлопотами о скудной пенсии, оформить которую было невозможно, потому что у неграмотной крестьянки, пережившей коллективизацию, пожары, немецкую оккупацию, бегство из голодного смоленского края, не осталось на руках никаких справок, подтверждавших ее трудовой стаж, хотя все «справки» были отпечатаны на ее ладонях. Всю жизнь она покорствовалась умыслам правителей, воле местных и поднебесных вождей. И вдруг, на один только миг, на момент голосования, почувствовала, что власть заинтересована в ней, в ее голосе, пусть хоть на крошечку, но зависима от нее. И она воспользовалась случаем. Нет, она не стала исправлять заведенный порядок, но заставила себе услужить — раз в жизни вознести себя наверх по белой лестнице и как бы задумалась на мгновение над избирательной урной прежде, чем послать туда листок с приветом судьбе — ее окаменевшей конфетке, ее гнилому яблочку...



## ИНДИЙСКАЯ РАДУГА

*Когда он мальчик был и с ним играл  
павлин Его индийской радугой кормили,  
Давали молока из розоватых глин  
И не жалели кошенили<sup>1</sup>.*

*Осип Манделъштам*

На Пасху мы с мамой в гостях у тети Кати и дяди Жоржа. Вообще-то моего любимого дядюшку зовут Георгием Кузьми-чом, но тетя Катя именует его на французский манер: Жорж. Их квартирка в гранитном доме над метро «Ботанический сад» (теперь — «Проспект Мира») напоминает крохотную антикварную лавочку — драгоценное гнездо в расщелине серой скалы — столько здесь фантазии, дорогих, затейливых безделушек: японские фарфоровые чашечки, мейссоновские статуэтки галантных влюбленных, весь узорный, как плетеная корзинка, и точно заснеженный богемский хрусталь, лазурные с золотыми ободками коньячные «рюмочки-пригубочки», самоцветные глаза павлиньих шкатулок — жгучих уральских жар-птиц и еще столько всего, радующего своей прихотливостью, подлинностью, стариной!

На столе — льняная накрахмаленная скатерть с аккуратным перекрестьем свежеотутюженных складок. А на скатерти — горка красных крашенных яиц, пышный домашний кулич с изюмом, наполняющий комнату душистым и теплым ароматом корицы, и главное угощение — дивная фруктовая пасха в хрустале, сладкая пасха с цукатами и живыми виноградинами, нежная, как крем, желтоватая, оваянная ванилью.

Мне наливают бьющий в ноздри, остро пузырящийся лимонад, взрослым — коньяк. Кроме мамы, взрослых за столом четверо. Дядя Жорж балагурит с тети Катиной сестрой Людмилой Григорьевной, про которую я знаю, что она окончила консерваторию, но пианисткой не стала, а муж Людмилы Григорьевны, Николай Петрович Вышеславцев смешит маму и тетю Катю

<sup>1</sup> Кошениль — здесь: красящее вещество красного цвета.

каким-то театральным анекдотом, однако юмор его до меня, увы, не доходит.

Прежде Николай Петрович служил в духовной консистории. Что это такое, я тоже не понимаю. Кажется, что-то церковное. Зато мне ясно, почему Николай Петрович женат на Людмиле Григорьевне. Она заканчивала *консерваторию*, когда он посещал *консисторию*. Наверняка это было где-то рядом. Потом Николай Петрович работал на радио. Он записывал оперы. Каждая запись сопровождалась словами: «Тонмейстер<sup>1</sup> — Вышеславцев». Все великие музыканты были его друзьями. Он называл их по именам-отчествам: «Надежда Андревна, Иван Семеныч, Антонина Васильна, Николай Семеныч...» А я, как бывалый радиослушатель, мысленно добавлял: Обухова, Козловский, Нежданова, Голованов... Оказывается, много лет Вышеславцев дружил с дирижером Свешниковым, с тех самых пор, «когда Александр Василич был еще регентом хора храма Христа Спасителя».

Все это для меня ново и весьма удивительно. Мы живем в атеистической стране. Хор Свешникова выступает по радио с народными — не церковными — песнями, а сам дирижер, представьте себе, был каким-то «регентом», а тут еще этот кулич и эта пасха...

Я кладу ложечку на язык и закрываю глаза.

— Ешь, ешь, пока ротик свеж, — поощряет хозяйка.

— Да, Кать, пасха у тебя знатная! — хвалит сестра.

— С ванилью, — уточняет дядя Жорж.

— Кстати, а что такое ваниль, кто-нибудь знает? — спрашивает Николай Петрович.

Мама знает:

— Ваниль — это растение из семейства Орхидных, а вещество, которое выделяют из ванили, правильнее называть ванилином.

— Ах, так у нас пасха с орхидеями?! — радуется Людмила Григорьевна.

— В старину говорили: «Экая Пасха — шире Рождества!» — вспоминает тетя Катя, подкладывая мне добавочку.

<sup>1</sup> Тонмейстер — звукооператор.